



PROJECT MUSE®

По ту сторону империи:
пространственные конфигурации
идентичностей в российских
литературных утопиях рубежа
XIX–XX вв.

Михаил СУСЛОВ

Ab Imperio, 4/2011, pp. 325–356 (Article)

Published by Ab Imperio

DOI: <https://doi.org/10.1353/imp.2011.0020>



➔ *For additional information about this article*

<https://muse.jhu.edu/article/467014>

Михаил СУСЛОВ

**ПО ТУ СТОРОНУ ИМПЕРИИ:
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ В
РОССИЙСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ УТОПИЯХ РУБЕЖА XIX–XX вв.***

Введение

В последние четыре десятилетия перед революцией 1917 г. в России появилось около сорока литературных утопий разных идеологических направлений, стилей и уровней литературного мастерства. Само по себе количество невелико, учитывая, что за тот же период только в Соединенных Штатах утопий вышло как минимум на порядок больше,¹ но все же достаточно, чтобы сформировать литературно-политический феномен, объединенный единством времени и места, тем и способов описания. Во всяком случае, самостоятельность этого направления позволяет рассматривать его в качестве отдельного явления, а не пре-

* Автор выражает признательность анонимным рецензентам *Ab Imperio*, Михаилу Николаевичу Лукьянову, Марку Д. Стейнбергу, Эдварду А. Рису, Стивену А. Смитцу а также следующим фондам и исследовательским центрам, без финансовой и административной помощи которых данная работа не могла бы состояться: Uppsala Center for Russian and Eurasian Studies, Swedish Institute, Gerda Henkel Foundation, Erasmus Mundus External Cooperation Window (European Commission), Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, European University Institute.

¹ Подсчитано в соответствии со следующими работами: Lyman Tower Sargent (Ed.). *British and American Utopian Literature, 1516–1985: An Annotated Bibliography*. New York, 1988; Jean Pfaelzer. *The Utopian Novel in America 1886–1896*. Pittsburgh, 1984; Susan M. Matarese. *American Foreign Policy and the Utopian Imagination*. Amherst, 2001.

дыстории авангардистских утопий 1920-х гг. или советской научной фантастики,² тем более что сюжетно дореволюционные утопии имели очень мало общего как с последующей эволюцией жанра, так и с тем, что М. Геллер и А. Некрич называют “утопией у власти”.³ В частности простое числовое сопоставление показывает, что если в США социалистические идеалы преобладают в 85% утопий, то в России социалистических утопий до революции появилось совсем не много.⁴ Конечно, не стоит преувеличивать уникальность российской утопической традиции, которая в основном питалась заимствованиями, порой критическими, из Э. Беллами, У. Морриса, Ж. Верна и Г. Уэллса;⁵ к тому же все утопии этого периода, по сути, об одном: о путях выхода из “железной клетки” отчуждающих социальных отношений, о преодолении “травмы модерности” и о создании такого общества, которое бы давало максимум возможностей для развития человека как человека, помимо его классовых, расовых, национальных, гендерных и иных различий.

Однако социальная трансформация невозможна без производства нового, измененного социального пространства,⁶ а его изменение обусловлено уже существующими геополитическими конфигурациями. Комментируя известное высказывание Маркса о том, что каждая эпоха ставит перед собой только те задачи, которые может решить, З. Бауман определял утопии как исследование возможностей, открытых для общества на данной стадии развития.⁷ Утопия как бы высвечивает

² С этой точки зрения дореволюционные утопии рассматриваются в следующих источниках: Richard Stites. *Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution*. New York, 1989; Patrick L. McGuire. *Red Stars: Political Aspects of Soviet Science Fiction* / Ph.D. dissertation; Princeton, 1977; А. Бритиков. *Русский советский научно-фантастический роман*. Ленинград, 1970.

³ М. Геллер, А. Некрич. *Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 г. до наших дней*. London, 1982.

⁴ Явно социалистическое содержание лишь в кн.: “Что делать?” Чернышевского и “Красная Звезда” А. А. Богданова; социалистические идеи – в кн.: “На другой планете” П. П. Инфантьева и “Праздник весны” Н. Ф. Олигера. Анализ идеологического контента в американских утопиях: Howard P. Segal. *Utopia Diversified: 1900–1949* // Kenneth M. Roemer. *America as Utopia*. New York, 1981.

⁵ Krishan Kumar. *Utopia and Anti-Utopia in Modern Times*. Oxford, 1987. P. 135; Sylvia E. Bowman et al. (Eds.) *Edward Bellamy Abroad: An American Prophet's Influence*. New York, 1962.

⁶ Henri Lefebvre. *The Production of Space*. Oxford, 1998. P. 349; Mark Gottdiener. *A Marx for Our Time: Henri Lefebvre and the Production of Space* // *Sociological Theory*. 1993. Vol. 11. No 1. Pp. 129-134.

⁷ Zygmunt Bauman. *Socialism: The Active Utopia*. London, 1976. P. 15.

границы возможного, частично проходящие по уже существующим границам, переходам, различиям, которые по-новому актуализируются и переосмысливаются утопическим воображением. Таким образом, своеобразие российских утопий заключается в специфическом состоянии социального пространства позднеимперской России. Нарративные утопии дореволюционного периода в России являются артефактами, которые могут многое рассказать о возможностях и ограничениях, вытекающих из исторически данной ситуации взаимодействия различных вариантов идентичности, связанных с национализмом, империализмом и колониализмом.

Особый статус нарративной утопии в ряду других “мертвых языков империи” обусловлен ее жанровой близостью к политическому трактату, гибкостью и универсальностью средств выразительности. Говоря о нарративной утопии рубежа XIX–XX вв. как о “мертвом языке империи”,⁸ следует подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, для понимания этого языка требуется историческая контекстуализация; ни советские, ни современные утопии, даже использующие имперские темы и образы царской России, не являются близкими “генетическими родственниками” дореволюционных фантазий, большинство из которых до сих пор не вышло за пределы знания немногих ценителей российской научной фантастики. Во-вторых, эта метафора позволяет подчеркнуть различие двух способов репрезентации: если нация говорит языком истории,⁹ то империя языком истории будущего, т.е. утопии. Привлекая анализ Э. Блоха, можно сказать, что представления о социальной гомогенности лежат в области интеллектуальной утраты, в области кристаллизации реальных или воображаемых событий прошлого, которые являются “уже-не-осознаваемыми”, в то время как воображение империи сродно с блоховским сумеречным ландшафтом “еще-не-осознаваемого”, где располагаются не только архитектурные памятники еще не совершенных, но уже предчувствуемых событий (достаточно представить себе Санкт-Петербург и Вашингтон), но и литературные утопии.¹⁰

⁸ Источником вдохновения для подобной интерпретации послужила программная статья: И. Герасимов, С. Глебов, А. Каплуновский, М. Могильнер, А. Семенов. Языки самоописания империи и нации как исследовательская проблема и политическая дилемма (От редакции) // *Ab Imperio*. 2005. №1. С. 16.

⁹ Ср., напр., высказывание П. Нора: “история – национальный роман”. (См.: Н. Копосов. Память строгого режима. История и политика в России. Москва, 2011. С. 31).

¹⁰ Ernst Bloch. *The Principle of Hope*. 3 vols. Cambridge, MA, 1986. Vol. 1. Pp. 115–116.

Современная критическая теория трактует литературные утопии как политически значимые события, которые не просто отражают идеологические дебаты и участвуют в них, но и создают отношения господства и подчинения. Это положение конкретизируется в работе Ф. Вегнера “Воображаемые сообщества: Утопия, нация и пространственные истории современности” (2002), в которой утверждается, что описание в литературной утопии это не просто *mimesis*, пассивное отражение реальности, а *semiosis*, т.е. активное производство смыслов; таким образом, в утопии “само описание выполняет ту функцию, которую в других жанрах выполняет действие или сюжет; так что [при помощи описания] социальное и культурное пространство и идентичность сообщества медленно возникают перед нашими глазами”.¹¹

Складывание исследований по утопии в академическую дисциплину подчеркивает логику утопии как политического действия, а не только литературного приема; в конце 1960-х и в 1970-е гг. многие специалисты были склонны ставить знак равенства между утопией и социализмом, утопией и массовым революционным движением.¹² В то же время концептуальное оформление школы исследований по утопиям было связано с “оправданием утопии” посредством диссоциации утопизма и тоталитаризма.¹³ Во-первых, интеллектуалы-исследователи и теоретики настаивали на различии утопизма и перфекционизма; утопия с этой точки зрения не образ социального идеала, а процесс его воображения. Во-вторых, этот “процесс” – политическая рационализация внутреннего и неискоренимого стремления человека к лучшему и источник

¹¹ Phillip Wegner. *Imaginary Communities: Utopia, the Nation, and the Spatial Histories of Modernity*. Berkeley, 2002. P. xviii. Вегнер, возможно, держал в уме фразу своего учителя Фредрика Джеймсона о том, что утопия – это “повествование без повествователя и действующих лиц” (Fredric Jameson. *Of Islands and Trenches: Naturalization and the Production of Utopian Discourse* // *Diacritics*. 1977. Vol. 7. No. 2. P. 4). Из развернутых комментариев к этой работе Вегнера см., напр.: Peter Fitting. *Narrating Utopian Space* // *Science Fiction Studies*. 2003. Vol. 30. No. 1. Pp. 91-100; Antonio Y. Vazquez-Arroyo. *Utopia: A Critical Archaism or an Ideological Anachronism?* // *Political Theory*. 2008. Vol. 36. No 2. Pp. 321-332.

¹² Jameson. *Of Islands and Trenches*. P. 3.

¹³ К антиутопической “классике” относятся: Emil M. Cioran. *History and Utopia* [1960]. Chicago, 1998; Р. Дарендорф. *Тропы из утопии. Работы по теории и истории социологии* [1967]. Москва, 2002; J. Fest. *Der zerstörte Traum. Vom Ende des utopischen Zeitalters*. Berlin, 1991; Aurel Kolnai. *The Utopian Mind and Other Papers: A Critical Study in Moral and Political Philosophy*. London, 1995; Karl Popper. *Utopia and Violence* // *World Affairs*. 1986. No. 149. P. 1; К. Поппер. *Открытое общество и его враги* [1943]: В 2 т. Москва, 1992.

социального действия в целом.¹⁴ Отделив утопию от репрессивных тоталитарных проектов, “школа утопических исследований”, не до конца избавившись от черт “партии Утопии”,¹⁵ утверждает понимание утопизма как метода критического острашения действительности, сущностно противоположного задаче мифа “сделать мир неподвижным”.¹⁶ Такая трактовка вдохнула новую жизнь в старую концепцию К. Маннхейма, который разделял утопию как практику социальной мобилизации угнетенных и идеологию как способ консервации существующих отношений.¹⁷ Маннхеймовская социологическая диалектика освобождения и закрепощения, утопии и идеологии на практике означает связь того и другого вплоть до неразличимости: фактор успешности утопии — это ее способность превратиться в идеологию, и наоборот, успешная идеология должна мимикрировать под утопию.¹⁸ Такая интерпретация

¹⁴ Из наиболее влиятельных работ, развивающих подобную трактовку, можно отметить: Russell Jacoby. *Picture Imperfect. Utopian Thought for an Anti-Utopian Age*. New York, 2005; Fredric Jameson. *Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fiction*. New York, 2005; Ruth Levitas. *The Concept of Utopia*. Syracuse, NY, 1990; Tom Moylan. *Demand the Impossible: Science Fiction and the Utopian Imagination*. New York, 1987; Moylan and Raffaella Baccolini. *Introduction: Utopias as Method* // Moylan, Baccolini. *Utopia Method Vision: The Use Value of Social Dreaming*. Bern, 2007; Chris Ferns. *Narrating Utopia: Ideology, Gender, Form in Utopian Literature*. Liverpool, 1999; Christine Nadir. *Utopian Studies: Environmental Literature, and the Legacy of an Idea: Educating Desire in Miguel Abensour and Ursula K. Le Guin* // *Utopian Studies*. 2010. Vol. 21. No. 1.

¹⁵ Понятие заимствовано из кн.: Jameson. *Archaeologies of the Future*.

¹⁶ Р. Барт. *Мифологии*. Москва, 2010. С. 319. Влиятельным родоначальником рассматриваемой интерпретации был Дарко Сувин. См.: Darko Suvin. *Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and Theory of a Literary Genre*. New Haven, 1979. А также см.: Miguel Abensour. *Romanticism, Moralism and Utopianism: The Case of William Morris* // *New Left Review*. 1976. No. 99. Pp. 1-29; Ian Buchanan. *Metacommentary on Utopia, or Jameson's Dialectic of Hope* // *Utopian Studies*. 1998. Vol. 9. No. 2. Pp. 18-30; Peter Fitting. *The Concept of Utopia in the Work of Fredric Jameson* // *Utopian Studies*. 1998. Vol. 9. No. 2. Pp. 8-17; Ashlie Lancaster. *Instantiating Critical Utopia* // *Utopian Studies*. 2000. Vol. 11. No. 1. Pp. 109-119; Lars Gustafsson. *Negation als Spiegel. Utopie aus epistemologischer Sicht* // Wilhelm Voßkamp (Hg.). *Utopieforschung: Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie*. Stuttgart, 1982. Bd. I. S. 280-292; Jorn Ruesen. *Rethinking Utopia: A Plea for a Culture of Inspiration* // Ruesen (Ed.). *Thinking Utopia. Steps into Other Worlds*. New York, 2005; Richard Saage. *Politische Utopien der Neuzeit*. Bochum, 2000.

¹⁷ К. Манхейм. *Диагноз нашего времени*. Москва, 1994. С. 173.

¹⁸ Обращение к концепции Маннхейма и его критика: Matt Beaumont. *Utopia Ltd. Ideologies of Social Dreaming in England 1870–1900*. Leiden, 2005; George Mariz. *Towards a Socio-Historical Understanding of the Clerical-Utopian Novel* // *Utopian Studies*. 2003. No. 14. P. 1.

способствовала коррозии неомарксистского понимания утопии как освобождения в агрессивной среде постколониальных исследований и критической теории, для которых литературная утопия – это идеологическая интервенция, способ политического доминирования.¹⁹

Можно выделить два подхода к анализу утопии как идеологической интервенции. Первый связан со становлением современной теории национализма. Одним из пионеров подобного направления был Лайман Сарджент, который привлек работу Б. Андерсона о нации как основной категории воображения идеального общества.²⁰ С. Метерез продолжает это же методологическое направление, исследуя взаимосвязь утопической фантазии и внешней политики через ряд сквозных тем и мифологий.²¹ Методологическая проблема заключается в том, что подтвердить непосредственное воздействие утопий на конкретного политика очень сложно. С другой стороны, как отмечает один рецензент, утверждать, что эти идеи “витали в воздухе”, то же самое, что полагать, будто современная внешняя политика Белого дома отражает сюжеты из телесериала “Секретные материалы”.²² Видимо, взаимосвязь литературных утопий и политических решений

¹⁹ Ralph Pordzik. *The Quest for Postcolonial Utopia: A Comparative Introduction to the Utopian Novel in the New English Literatures*. New York, 2001.

²⁰ Sargent. *Utopianism and National Identity* // *Critical Review of International Social and Political Philosophy*. 2000. Vol. 3. No. 2-3. Pp. 87-106. Еще раньше подобные идеи высказывала Вита Фортунати: Vita Fortunati and Nadia Minerva (Eds.). *Per una definizione dell'utopia: Metodologie e discipline a confronto: atti del convegno internazionale do Bagni di Lucca, 12-14 settembre 1990*. Ravenna, 1992. P. 19. О взаимодействии утопии и геополитики: Peter Fisher. *Fantasy and Politics: Visions of the Future in the Weimar Republic*. Madison, 1991; Hermand Jost. *Old Dreams of a New Reich: Volkisch Utopias and National Socialism*. Bloomington, 1992; Henning Franke. *Der politisch-militärische Zukunftsroman in Deutschland, 1904–1914. Ein populäres Genre in seinem literarischen Umfeld*. Frankfurt am Main, Bern, New York, 1985; Ignatius Frederick Clarke. *The Pattern of Expectation, 1644–2001*. London, 1979; Idem. *Voices Prophesying War. Future Wars 1763–3749*. Oxford, 1992; Idem (Ed.). *The Tale of the Next Great War, 1871–1914: Fictions of Future Warfare and of Battles Still-to-come*. Liverpool, 1995; Idem (Ed.). *The Great War with Germany, 1890–1914: Fictions and Fantasies of the War-to-come*. Liverpool, 1997. См. также работу, анализирующую военные утопии в контексте военно-технических изобретений рубежа XIX–XX вв.: Antulio Joseph Echevarria. *Imagining Future War: The West's Technological Revolution and Visions of Wars to Come, 1880–1914*. Westpoint, 2007.

²¹ Matarese. *American Foreign Policy and the Utopian Imagination*.

²² H. W. Brands. *American Foreign Policy and the Utopian Imagination* by Susan Matarese // *The American Political Science Review*. 2002. Vol. 96. No. 4. P. 890.

находится в несколько другой плоскости, не в конкретных идеях, а в концептуальных рамках.

Другой подход, анализирующий “рамки”, развился под влиянием теории постколониализма; эти исследователи утопии и фантастики изучают ситуации колониального и имперского господства в повествованиях. Так, в плодотворном исследовании А. Баласопулоса рассматриваются практики территориального доминирования в американских утопиях.²³ Ссылаясь на эту работу, Ф. Джеймисон признает, что колониальное господство, присущее жанру, является более серьезным антиутопическим аргументом, чем все обвинения в авторитаризме.²⁴ В том же духе П. Керслейк исследует восприятие “Другого” в фантастических романах, которое проецировалось на политическую ситуацию колониального господства.²⁵

Наиболее существенным вкладом в понимание как пространственных характеристик утопического, так и российских утопий стала уже упомянутая работа Ф. Вегнера, в которой анализируются сложности и возможности, связанные с “воображением новых пространств, сообществ и историй” в эпоху нового времени.²⁶ Как комментарий и ценное дополнение к этой работе появилось исследование Ф. Стира об утопии и империи, который анализирует ситуацию отсутствия империи в известном сочинении У. Морриса “Вести ниоткуда”, противопоставляя ее экспансионистской фантазии Ю. Фогеля “2000 год после Рождества Христова”. Сtir резонно полагает, что не только (и от себя добавим – не столько) нация, сколько империя определяла “грамматику” воображения на рубеже XIX–XX вв.²⁷

Кроме глав из книги Вегнера, посвященных российским утопиям, отечественный “материал” исследуется в рамках традиционного лите-

²³ Antonis Balasopoulos. *Unworldly Worldliness: America and the Trajectories of Utopian Expansionism* // *Utopian Studies*. 2004. Vol. 15. No 2. Pp. 3-35.

²⁴ Jameson. *Archaeologies of the Future*. P. 205.

²⁵ Patricia Kerslake. *Science Fiction and Empire*. Liverpool, 2007. См. также: Any J. Ransom. *Science Fiction from Quebec: A Postcolonial Study*. Jefferson, NC, 2009. Более ранние подходы к изучению колониализма в утопиях можно обнаружить, напр., в работе: Christian Marouby. *Utopian Colonialism* // *North Dakota Quarterly*. 1988. Vol. 56. No. 3. Pp. 148-160.

²⁶ Wegner. *Imaginary Communities*. P. xv. См. также методологически родственное исследование: Maxim Shadurski. *Debating National Identity in Utopian Fiction* (Morris, Benson, Read) // *Trames*. 2011. Vol. 15. No. 3. Pp. 300-316.

²⁷ Philip Steer. *National Pasts and Imperial Futures: Temporality, Economics, and Empire in William Morris's *News from Nowhere* (1890) and Julius Vogel's *Anno Domini 2000* (1889)* // *Utopian Studies*. 2008. Vol. 19. No. 1. Pp. 49-72.

ратуроведения и так называемой культурологии.²⁸ Отдельные работы по постколониализму в российской литературе создают необходимый аналитический контекст,²⁹ но в целом надо признать, что, с одной стороны, “школа исследований утопии” мало заинтересована в российских фантазиях, а с другой стороны, отечественные исследователи находятся словно в параллельном пространстве, почти никак не пересекаясь с богатейшей традицией исследования утопий в США, Великобритании, Германии, Италии и Франции.

Попытка исправить ситуацию в этой работе была бы непросто-тельно амбициозным проектом, поэтому задача данного исследования скромнее. Она заключается в том, чтобы показать работы российских утопистов как “политические интервенции”, которые “картографировали” ландшафт возможных интеллектуальных эволюций. В частности большинство утопий, в том числе космических, т.е. посвященных вне-земным цивилизациям, описывало перевернутую колониальную ситу-ацию, выражая страх российских интеллектуалов выглядеть варварами по сравнению с более развитой культурой. Но тем самым, даже крити-куя европоцентризм как антропоцентризм в космических фантазиях, утописты не обходились без европейской “цивилизации” как мерила цивилизованности в целом. Только славянофильские утопии могут быть названы “метаутопиями”³⁰ в том смысле, что они были критичными по

²⁸ Т. А. Артемьева. От славного прошлого к светлому будущему: философия исто-рии и утопия в России эпохи Просвещения. Санкт-Петербург, 2005; Л. Геллер, М. Нике. Утопия в России. Москва, 2003; Б. Ф. Егоров. Российские утопии. Исто-рический путеводитель. Санкт-Петербург, 2007; Н. В. Ковтун. Русская литературная утопия второй половины XX века. Томск, 2005; Русский проект исправления мира и художественное творчество XIX–XX веков / Под ред. Н. Ковтун. Москва, 2011.

²⁹ Susan Layton. *Russian Literature and Empire: Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy*. Cambridge, 1994. Можно назвать также идеологически пристрастную работу Eva Thompson. *Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism*. Westpoint, 2000. О российских утопиях последнего десятилетия см.: Б. Ланин. Во-ображаемая Россия в современной русской антиутопии // М. Tetsuo (Ed.). *Beyond the Empire: Images of Russia in the Eurasian Cultural Context*. Sapporo, 2008. Pp. 375-390; А. Чанцев. Фабрика антиутопий. Дистопический дискурс в российской литературе середины 2000-х // Новое литературное обозрение. 2007. № 86 (http://magazines.russ.ru/nlo/2007/86/cha16-pr.html#_ftnref8); Д. Володихин. Требуется осечка... Ближайшее будущее России в литературной фантастике // Социальная реальность. 2007. № 1. С. 79-93; В. С. Мартыанов, Л. Г. Фишман. Россия в поисках утопий. От морального коллапса к моральной революции. Москва, 2010. С. 124-214.

³⁰ Понятие метаутопии заимствовано из работы: Gary Saul Morson. *The Boundaries of Genre: Dostoevsky's Diary of a Writer and the Traditions of Literary Utopia*. Evanston, IL, 332

отношению не только к собственному идеологическому содержанию, но и по отношению к самому утопическому методу как элементу европейской традиции. Но и славянофилы не были последовательными в попытке заменить утопическое планирование стихийным творчеством народа, так как и эта попытка оставалась лишь утопической схемой, придуманной не народом, а для народа.

Центральной для данного исследования является фигура С. Ф. Шарапова (1855–1911). Он был не только одним из самых плодовитых утопистов в России, автором пяти полновесных фантазий и множества утопических зарисовок в прессе, включая такие многотиражные издания, как “Русское слово” (тираж 150 тыс. экземпляров), но также и ярким представителем предреволюционного поколения славянофилов, лидером “антивиттевской фронды” и автором ряда политических трактатов. В его работах основные идеологические положения ранних славянофилов: “публика и народ”, “теория общества”, панславизм, доктрина нравственной экономики, концепция “самодержавия и самоуправления” – достигают полноты своего раскрытия и обнаруживают внутренние ограничения и противоречия. Растущая год от года популярность Шарапова в современных националистических кругах означает,³¹ что поднятые им проблемы до сих пор волнуют общество, а также позволяет сделать вывод об “изоморфности” идеологического контекста в дореволюционной и современной России.

Аннексировать звезды? Колониальная ситуация в космических утопиях

Успехи российской дипломатии на Дальнем Востоке в 1890-е гг., строительство Транссибирской железной дороги и приобретение концессий в Китае не только подстегнули геополитическое воображение и аппетиты “восточников” вроде Э. Э. Ухтомского и П. А. Бадмаева,³²

1981. В книге Эдит Клоус этот термин используется в несколько ином смысле – как пограничный жанр: Edith W. Clowes. *Russian Experimental Fiction: Resisting Ideology after Utopia*. Princeton, 1993. P. 4.

³¹ В последнее время появились следующие переиздания его утопий: С. Ф. Шарапов. *Диктатор* (Политическая фантазия). Москва, 1998; Он же. *После победы славянофилов*. Москва, 2005; Он же. *Избранное*. Москва, 2010; Он же. *Россия будущего*. Москва, 2011. Для сравнения: утопия У. Морриса за последние двадцать лет переиздавалась в России один раз, “Глядя назад” Э. Беллами – ни разу.

³² Об этом, в частности: Andrew Malozemoff. *Russian Far Eastern Policy, 1881–1904*. Berkeley and Los Angeles, 1958; Д. Схиммельпеннинк ван дер Ойе. *Навстречу*

а также заставили общество выработать свое отношение к ситуации расового различия. Кроме того, развитие этнографии и правового осмысления понятия “инородцы” обостряло восприятие “Другого” и возможностей его взаимодействия с “Нами”,³³ а также релятивизировало представление о статусе европейской цивилизации.

Примером подобной релятивизации и страха показаться дикарем в глазах более высокоразвитого народа является анонимная фантазия “Дневник Андре” (1897). Проникнув на воздушном шаре на Северный полюс и обнаружив там континент с развитой цивилизацией, путешественники спасаются бегством, боясь, что их признают “настоящими дикарями” и отправят в этнографический музей.³⁴ Тема “негативного доминирования”³⁵ трансформировалась из критики европоцентризма в критику антропоцентризма в космических утопиях, которая была типична и для западной космической фантастики,³⁶ но в России она приобретала своеобразные качества, обусловленные особым статусом Российской империи в связке “метрополия – колония”. В российских утопиях особое эмоциональное напряжение от столкновения с более высокой культурой сочетается с нравственным осуждением европейской цивилизации.

В романе В. И. Крыжановской “В ином мире” (1910) изображено общество на Венере, состоящее из высокодуховных дангмарян – “коренных жителей” Венеры – и земных колонистов, одержимых самомнением и дурными пороками. Третья расовая категория в повествовании – это звероподобные слуги с “грубыми, некрасивыми лицами... [и] шапкой жестких, курчавых волос”.³⁷ Земляне находятся под жестким надзором “высшей касты” и мечтают свергнуть власть дангмарян. Бунт землян

восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество привело Россию к войне с Японией. Москва, 2009.

³³ См., в частности: John Slocum. Who, and When, Were the *Inorodtsy*? The Evolution of the Category of “Aliens” in Imperial Russia // *The Russian Review*. 1998. No. 57. Pp. 173-190.

³⁴ А. В-ский. Дневник Андре. Путешествие на воздушном шаре к северному полюсу. Санкт-Петербург, 1897. С. 29-30.

³⁵ Напр.: Alexander Etkind. *Internal Colonization. Russia's Imperial Experience*. Cambridge, 2011. Pp. 114-120.

³⁶ Из ранних образцов жанра см: К. Лассвиц. На двух планетах [1897]. Санкт-Петербург, 2011. Об этой утопии, напр.: William B. Fischer. *The Empire Strikes Out: Kurd Lasswitz, Hans Dominik, and the Development of German Science Fiction*. Bowling Green, 1984. Pp. 154-155.

³⁷ В. И. Крыжановская. В ином мире. Санкт-Петербург, 1910. С. 31.

несерьезен как детская шалость; не будучи в состоянии справиться с собственными страстями и с природными силами, они вновь призывают спасительное иго высшей расы.³⁸ Основную идею романа подчеркивает встроенность фантастического нарратива в контекст приключенческого повествования: главная героиня попадает на другую планету с помощью некоего мудрого мага, сопровождая археологическую экспедицию в Египет.

В отличие от сочинения К. Лассвица, которое критиковало сами отношения доминирования, Крыжановская не идет дальше абсолютно привычного для российской утопической традиции антиевропеизма, полностью поддерживая репрессивный режим цивилизации Венеры по отношению к нравственно испорченным землянам. Аналогичная тема развивается и в российских космических утопиях конца XVIII в., для которых, однако, характерна мифология противопоставления “доброго дикаря” и “испорченного европейца”.³⁹

Более тонкий пример релятивизации европейской колониальной гегемонии наблюдается в утопическом романе социал-демократа и революционера П. П. Инфантьева “На другой планете” (1900). В этом произведении описывается развитая коммунистическая цивилизация Марса, населенного жабоподобными, но гармонично развитыми существами. Инфантьев был известен как автор многочисленных беллетристических работ по этнографии Урала и Сибири, взгляды которого эволюционировали от явно ориенталистского превосходства и даже отвращения по отношению к “диким” вогулам (манси) в книге 1897 г. к культур-критическому восхищению перед “первобытным человеком, еще не развращенным ни алчностью наживы, ни другими добродетелями нашего просвещенного века” в расширенном переиздании этой же книги в 1910 г.⁴⁰ Инфантьев, для которого “дикири стали

³⁸ Там же. С. 243.

³⁹ См., напр.: В. А. Левшин. Новейшее путешествие, сочиненное в г. Белеве // Собеседник любителей русского слова. 1784. Ч. 13. Из исследований ранних российских утопий можно отметить: Stephen Lessing Baehr. The Paradise Myth in Eighteenth-Century Russia. Stanford, 1991. О возникновении анти-европейской мифологии в XVIII в.: А. Зорин. Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. Москва, 2001.

⁴⁰ П. П. Инфантьев. Путешествие к лесным людям. Москва, 1898. С. 3; Инфантьев. Путешествие в страну вогулов. Санкт-Петербург, 1910. С. 3. См. также: Г. И. Данилина. Встреча с неведомой страной вогулов // Инфантьев. Путешествие в страну вогулов. Тюмень, 2003. С. 6-9. В своих более поздних рассказах с большими фрагментами этнографических описаний Инфантьев изображает “инородцев” как

скорее несчастными, чем отвратительными”, в своем личном развитии с опозданием повторил интеллектуальную траекторию Просвещения.⁴¹ Между этими двумя версиями одной истории в 1900 г. появляется утопия, в которой сознание русского путешественника переселяется в тело одного из обитателей Марса. По контрасту с благородными манерами местных жителей герой повести, увидев свое новое тело в зеркале, “в состоянии какого-то безумного иступления начал биться и прыгать по комнате” пока его не успокоила и не устыдила мысль: “Но я положительно разыгрываю из себя здесь дикаря из дебрей африканских лесов... С чего это я воображал, что обитатели Марса непременно должны быть похожи на нас – людей?.. Какое дикое самомнение и самообольщение!”⁴²

Со временем приходит убеждение, что во многих аспектах тело марсиан более совершенно, чем тело человека, не говоря уже об их духовном и интеллектуальном превосходстве; между главным героем и дочерью его хозяина по имени Либерия даже возникает романтическая симпатия.⁴³ В этой утопии носителями подлинно европейской культуры (в частности, марсиане слушают записи лучших оперных исполнителей с Земли), манер, образованности и душевной чуткости оказываются не европейцы и не таежные обитатели, а негуманоидные инопланетяне – поклонники тонкой европейской кухни, высокой литературы и музыки. Таким образом, утопическая попытка поставить под сомнение европейскую гегемонию не является последовательной: критика европоцентризма оканчивается панегириком европейской культуре как поистине универсальному достижению Вселенной.

Утопия неонародника Л. А. Богоявленского (Л. Афанасьева) “Путешествие на Марс” (1901) снова обращается к теме “благородного дика-

простодушных и благородных таежных рыцарей – “меньших братьев” восточных славян. Напр.: Инфантьев. Предисловие // Инфантьев. Этнографические рассказы. Санкт-Петербург, 1909. Б.п.; Инфантьев. Соперники: Рассказ из жизни орочон. Тунгусы: Очерк. Санкт-Петербург, 1912.

⁴¹ Ю. Слезкин. Арктические зеркала. Россия и малые народы Севера. Москва, 2008. С. 96.

⁴² П. П. Инфантьев. На другой планете. Повесть из жизни обитателей Марса. Новгород, 1901. С. 53-54, 59. Информации об Инфантьеве мало. См., напр.: Т. Харламов. Ученый, революционер, фантаст // Наука Урала. 1983. № 7. С. 4.

⁴³ О гендерных метафорах применительно к колониализму см., напр.: Sara Suleri. The Rhetoric of English India. Chicago, 1992. Pp. 16-17, а также по отношению к Восточное Европе см.: Л. Вульф. Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. Москва, 2003. С. 98-148.

ря”, но, по сравнению с утопиями XVIII в., его сочинение предлагает более обширный и многоплановый анализ ситуации колониального доминирования, однако и оно не вполне последовательно. Марсиане у Богоявленского – это человекообразные лилипуты, живущие в мире счастливой Аркадии и наслаждающиеся простыми семейными радостями и природой. Экспедиция землян приносит им цивилизацию, индустрию, капитализм, а вместе с этим падение нравов и алчность. Сюжет утопии критически воспроизводит миф о европеизации в российской истории. Характерен выбор главных героев с говорящими фамилиями: это студент Шведов, главный “мотор” экспедиции; безумный, но безобидный ученый Русаков; обрусевший профессор Лессинг, который и устроил марсианам железные дороги, разрушив счастливое детство их цивилизации; американская богачка Мэри и собственно изобретатель космического корабля Краснов – гениальный самоучка-математик. В книге фигурирует король марсиан, который едва ли не единственный из своего народа жаждет чужеземных знаний и даже собирается посетить Землю. Но Богоявленский символически переигрывает исторический сюжет европеизации России: марсиане, разочарованные в чудесах науки и техники, прогоняют пришельцев. Последние кадры повествования делают идеологическую параллель европейского колониализма и европеизации России еще более заметной. Путешественники, приземлившись в Сибири, не скрывают своего разочарования: “Однако хотя мы и в России, но до Европы нам еще долго придется ехать”.⁴⁴ Эта фраза помещает культурное пространство между российской провинцией и метрополией в более широкую перспективу западного колониализма, предлагая тем самым многоуровневую систему критики европейского империализма, состоящую из критики колониализма по отношению к восточным народам, критики европеизации России Западом и критики европеизации российского народа европеизированными элитами. Тем не менее самоучка Краснов, посрамивший западную ученость, изобретает не что иное, как инструмент колониальной экспансии, который не только пронизывает пространство, но и опровергает все три уровня колониальной критики.

В 1908 г. появилась знаменитая утопия А. А. Богданова “Красная звезда”.⁴⁵ Как и в утопии Инфантьева, которая, вероятно, послужила ис-

⁴⁴ Л. А. Богоявленский. В новом мире. Киев, 1902. С. 207.

⁴⁵ О ней: Kenneth Jensen. *Red Star: Bogdanov Builds a Utopia* // *Studies in Soviet Thought*. 1982. Vol. 23. No 1. Pp. 1-34; Richard Stites. *Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution*. Oxford, 1989. Pp. 32-33.

точником вдохновения для Богданова, в “Красной звезде” описывается более развитое коммунистическое марсианское общество, в которое попадает русский революционер Леонид (Лэнни). Как замечают исследователи, психологические срывы Леонида, его адаптационные сложности проблематизируют связь Земля – Марс как “настоящее – будущее”.⁴⁶ Коммунистическое будущее оказывается гораздо менее достижимым; для этого недостаточно построить космический корабль, надо перестроить самого себя. Несмотря на большие биологические сходства землян и марсиан, чьи гуманоидные тела с большой головой, развитыми глазами и маленьким подбородком не вызывают отвращения у главного героя, марсиане гораздо более сообразительны, интеллектуальны, они способны к концентрации внимания и точности движений, недоступных Леониду. Он открыто признает себя человеком “низшей культуры”, сравнивая свой марсианский опыт с тем, как в юности он мучился над французским учебником математики: “...французский профессор, очень ясный и точный в выражениях, но очень скупой на объяснения... постоянно пропускал те логические мостики, которые могли сами собой подразумеваться для человека более высокой научной культуры, но не для юного азиата”.⁴⁷

Опасение показаться дикарем в глазах более цивилизованного народа в “Красной звезде” приобретает конкретные очертания. Стэрни, идеолог завоевания Земли и уничтожения земного человечества, аргументирует свою позицию тем, что земная культура неизмеримо ниже марсианской. Но в споре побеждает другая интерпретация: история Земли полна жестокости и насилия, разделения, провалов и рывков вперед, но это оттого, что земляне обладают большой жизненной энергией и многими талантами, поэтому в будущем “младшие братья” марсиан превзойдут их и в научном творчестве, и в организации жизни.⁴⁸

Вопреки интерпретации Вегнера, утопия Богданова не является вполне “метаутопией”, критикующей свой собственный интеллектуальный метод. Она воспроизводит ситуацию *ressentiment*⁴⁹ по отношению к более развитой цивилизации и тем самым открывает горизонты для компенсаторной интерпретации отсталости как залога великого

⁴⁶ Mark B. Adams. “Red Star”: Another Look at Aleksandr Bogdanov // *Slavic Review*. 1989. Vol. 48. No. 1. Pp. 6-9; Wegner. *Imaginary Communities*. Pp. 106-108.

⁴⁷ А. А. Богданов. *Красная звезда*. Москва, Санкт-Петербург, 2009. С. 140.

⁴⁸ Богданов. *Красная звезда*. С. 179-182.

⁴⁹ См.: Liah Greenfeld. *Nationalism: Five Roads to Modernity*. Cambridge, MA, 1992. Pp. 222-235.

будущего. В утопии Богданова отношения Земля – Марс воспроизводят идеологическое противостояние России и Запада, так что Россия синекдохически замещает все человечество. Выбирая посланца Земли среди разных народов, марсиане предпочли русского Леонида, так как в России “жизнь идет наиболее энергично и ярко... люди вынуждены все больше смотреть вперед”.⁵⁰ Дискурс о юности, варварстве и колоссальных возможностях Земли по сравнению со спокойной старостью Марса параллелен аналогичному противопоставлению России и Европы в славянофильской традиции. Кроме того, в “Красной звезде” появляется и третий элемент: вместо Земли марсиане решают колонизировать Венеру, населенную доисторическими ящерами. Таким образом, под поверхностью споров о путях достижения коммунизма лежит убежденность в мессианском будущем России/Земли. Повторенная сторонниками (Стэрни) и противниками (Нэтти) колонизации Земли, фраза “мировая жизнь едина” не оставляет сомнений в том, что спасение Земли является исключением, подтверждающим и оправдывающим правило колониального доминирования.⁵¹

Возвращаясь к пресловутой мечте Сесилия Родса “аннексировать звезды”, можно заметить, что в России, так же возникнув на почве “реального” колониализма, практик экспансии, этнической и расовой дифференциации, “космический колониализм” стал источником беспокойства и неоднозначных трактовок. Тема “первого контакта” послужила не просто для многочисленных постановок в жанре *qui pro quo*, в которых западная цивилизация играет роль колониальной жертвы, но и для проблематизации собственной идентичности. “Первый контакт” для России уже состоялся в историческом прошлом, фантастам-утопистам остается осмыслить его последствия.

Империалистические удовольствия в оптимистических утопиях

Различие между пессимистическими и оптимистическими утопиями заключается не столько в разном темпераменте и изобразительном приеме, сколько в разном способе воображения собственной идентичности.⁵² Оптимистические утопии описывают военные победы,

⁵⁰ Богданов. Красная звезда. С. 40-41.

⁵¹ Там же. С. 178.

⁵² Оптимистические и пессимистические утопии (какотопии, дистопии) не совпадают с делением на собственно утопии и антиутопии. Антиутопия – это пародийная

присоединение новых территорий, приобретение сфер влияния и истребление геополитических врагов, а потому они высвобождают массу позитивных эмоций. Такие утопии актуализируют ситуацию различия, фундаментальной гетерогенности пространства, причем само различие является источником наслаждения. Например, распространенный сюжет военных утопий заключается в дифференцированном отношении победителя к побежденным: великодушие к одним по контрасту с безжалостностью к другим.⁵³

Хотя можно утверждать, что оптимизм в геополитических утопиях связан с экспансией, а следовательно, с необходимостью осмыслить ситуацию гетерогенности, возникающую в результате территориального расширения, это “избирательное сродство” оптимистических утопий и империализма не исключает и националистической тематики. Например, целый пласт панславистских утопий сочетал мечту о захватах с созданием панславянской нации под верховенством России по образцу объединения Германии. Тем не менее, чем более безоблачны надежды утопистов, тем больше оснований использовать империалистическую риторику различия, а не равенства. Провозгласив создание Всеславянского союза, С. Ф. Шарапов в утопии “Через полвека” (1901) спрашивает: “Неужели было бы справедливо нам [т.е. русским], победителям и первому в славянстве, а теперь и в мире народу садиться на корточки ради какого-то равенства со славянами?”⁵⁴ Красницкий, вдохновленный обещанием Тютчева “связать его [славянское единство] любовью” в противовес германскому объединению “железом и кровью”, через несколько страниц, видимо, не осознавая внутреннего противоречия, рассуждает:

критика самого утопического метода, дистопия – изображение возможного катастрофического будущего. Литература по антиутопиям огромна; особенно ценные наблюдения для данной работы были почерпнуты из кн.: Tom Moylan. *Scraps of the Untainted Sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia*. Boulder, 2000; А. Ф. Любимова. *Жанр антиутопии в XX веке: Содержательные и поэтологические аспекты*. Пермь, 2001.

⁵³ Из современных работ см.: М. З. Юрьев. *Третья империя. Россия, которая должна быть*. Москва, 2007. С. 82-98. Аналогичные сюжеты характерны для западных утопий. Напр., разительным контрастом выглядят великодушные условия мирного договора с побежденной Францией и установление режима настоящего геноцида на территориях, отторгнутых у Российской империи, см.: K. Kärger. *Germania triumphans: Rückblick auf die weltgeschichtlichen Ereignisse der Jahre 1900–1915*. Berlin, 1895. S. 13-16, 78-76. См. о ней: Gerhard Sandner. *The Germania Triumphans Syndrome and Passarge's Erdkundliche Weltanschauung: The Roots and Effects of German Political Geography beyond Geopolitik* // *Political Geography Quarterly*. 1989. No. 8. P. 4.

⁵⁴ С. Ф. Шарапов. *Через полвека*. Москва, 1902. С. 72.

В то самое время, когда западные славяне спешили воссоединиться с Россией, славяне Балканские не особенно торопились свершить то же самое. Уж слишком много носилась с ними прежде Россия и вконец избаловала их...⁵⁵

Исключение представляет собой Черногория; этот “единственный верный и искренний друг России”, по словам Александра III, получил во Всеславянском союзе равный статус с Россией, то есть мы видим уже три разные “категории” славян в этой утопии. Логика различия доходит до автоиронического абсурда в утопии И. Ф. Романова (Рцы) “Вечер черной и белой магии” (1891), в которой на месте Болгарии образуется огромное озеро. Так автор расквитался за “неблагодарность” болгар по отношению к жертвам, которые Россия принесла во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг.⁵⁶

Другой способ производства удовольствия состоит в самом перечислении и классификации измененного геополитического пространства. Утопический герой Шарапова с восторгом глядит на карту Российской империи в 1950 г.: “Вот она, матушка Русь, какой стала за полвека!” – восклицает он и указывает такие категории территорий Российской империи, как “коренные русские области”, инородческие области (Польша, Финляндия, Закавказье и др.), присоединенные области (Восточная и Центральная Европа), вольный город Царьград, азиатские колонии (Афганистан и Персия) и район оккупации (Манчжурия).⁵⁷ Для воссоздания контекста отметим утопию вице-консула США на Гаити А. Берда “Глядя вперед” (1899), в которой не менее десятка раз почти в одинаковых выражениях высказывается восхищение тем, что границы США простираются от Северного полюса до берегов Патагонии.⁵⁸ Кроме удовольствия от различия и удовольствия от перечисления, нарративные утопии идеально приспособлены для производства удовольствия от игры. Подобно тому как в империалистических романах, по словам Э. Саида, эстетическое удовольствие от сопереживания главным героям переплетается с темами колониального господства, в утопиях главным героем является сам народ, а сюжетом – его приключения и победы

⁵⁵ А. И. Красницкий. За приподнятой завесой. Фантастическая повесть о делах будущего (XX век). Санкт-Петербург, 1900. С. 195. См.: Ф. Тютчев. Два единства (1870).

⁵⁶ Рцы [И. Ф. Романов]. Вечер черной и белой магии. (Фантазии на тему “Через сто лет” Беллами). Москва, 1891. С. 13.

⁵⁷ Шарапов. Через полвека. С. 63.

⁵⁸ Нанп.: Arthur Bird. Looking Forward: A Dream of the United States of the Americas in 1999. New York, 1899. P. 10.

в большой (гео)политике. Описания территориальных приращений, с квалифицирующими подробностями и многократными повторениями, должны были вызывать те же эмоции, что и сопереживание похождениям Кима, его ловкости, остроумию и смелости. Анализируя произведения Р. Киплинга, Саид пишет, что, следя за приключениями Кима О'Хара, читатель как бы овладевает всей территорией Индии: "Это подобно тому как, удерживая Кима в центре повествования... Киплинг мог *обладать* и наслаждаться Индией [с такой полнотой,] какая не снилась даже империалистам".⁵⁹ В тон ему можно возразить, что в своих снах наяву, в утопиях, империалисты все же достигали поистине сверхъестественного господства над пространством и даже временем.

Для примера сошлемся на утопию Н. Н. Шелонского "В мире будущего" (1892). На волне эмоционального подъема, который был вызван союзом России и Франции (обратим внимание на время написания романа), автор повествует о будущем слиянии двух стран в одно государство; соответственно все страны, что находились между ними, "не существуют уже около тысячи лет".⁶⁰ Утопия панслависта А. И. Красницкого "За приподнятой завесой" (1900) смело обращается со временем. История сфокусирована на последних годах XX в., причем в течение этого века "все на земном шаре оставалось в том же виде и положении, в каких мир застали последние дни тревожного XIX столетия. Карта земного шара не подверглась ни малейшей переделке": в России за это время подспудно зрели идеи славянофилов и панславистов, продолжался экономический рост, и развивалось просвещение. Запад медленно "разлагался", мораль падала. Автор как бы замораживает историю, чтобы дать России догнать Европу и возвыситься.⁶¹

Продолжая мысль Саида, можно отметить, что условием производства удовольствия является "удержание" империи в пространственном и временном центре повествования. *Kairos* – время исполнения пророчеств, "осевое время" утопии разворачивается в повествовательном "сегодня", но подобный фантастический нарратив лишен внутреннего драматизма, поскольку триумф империи подготовлен заранее, читателю

⁵⁹ Edward Said. The Pleasures of Imperialism // Said. Culture and Imperialism. New York, 1994. P. 155.

⁶⁰ Н. Н. Шелонский. В мире будущего. Фантастический роман. Москва, 1892. С. 212. Роман был частично переведен на немецкий под названием "Daraajans Testament: Ein phantastischer Roman" (Berlin, 1903).

⁶¹ Красницкий. За приподнятой завесой. С. 1.

романов Красницкого и Шелонского не составляет труда догадаться, чем закончится конфликт совершенного, справедливого общества с упадочными государствами Европы. Утопии помещают империю в центр оптимизированного географического пространства, окружая ее концентрическими кругами колоний, сателлитов, союзников и т.п. Так, для географического воображения Германии требовался миф о “Срединной Европе”,⁶² а для “комфортного” представления о геополитическом положении своей страны российским интеллектуалам требовалась еще более широкая перспектива с включением Азии и Дальнего Востока. Такую перспективу давала и дальневосточная политика Российской империи на рубеже XIX–XX вв. и влиятельная в панславистских кругах теория “трех миров” В. И. Ламанского, опубликованная в журнале “Славянское обозрение” Санкт-Петербургского Славянского благотворительного общества.⁶³ Не случайно империалистические утопии, написанные панславистами Красницким, Шараповым, Романовым, кажутся более заинтересованными не в славянских землях, а в азиатских владениях России.

Производство “империалистических удовольствий”, как правило, основано на использовании эмотивов, т.е. таких словесных описаний эмоций, которые сами вызывают эмоции.⁶⁴ Для примера приведем отрывок из той же утопии Красницкого: главнокомандующий армией и адмирал российского флота ожидают важных приказаний от царя, наконец депеша получена:

Оба они были сильно взволнованы, порывисто дышали, но глаза их светились радостным огнем. ...Главнокомандующий вошел в толпу своих подчиненных и обнажил голову... Было что-то торжественное в его лице, обыкновенно несколько мрачном и нахмуренном... Все сразу почувствовали нечто необыкновенно важное, необыкновенно серьезное...

⁶² Об этом см.: A. Peschel. Friedrich Naumanns und Max Webers “Mitteleuropa”. Dresden, 2005; Henry Cord Meyer. *Mitteleuropa in German Thought and Action, 1815–1945*. The Hague, 1955; Hans-Dietrich Schultz. *Fantasies of the Mitte: Mittellage and Mitteleuropa in German Geographical Discussion in the 19th and 20th Centuries* // *Political Geography Quarterly*. 1989. No. 8. P. 4. О современном пространственном воображении в России см.: Edith Clowes. *Russia on the Edge. Imagined Geographies and Post-Soviet Identity*. Ithaca, 2011.

⁶³ См.: В. И. Ламанский. *Три мира Азийско-Европейского материка*. Санкт-Петербург, 1892.

⁶⁴ Эта концепция была впервые выдвинута У. Рэдди, см.: William M. Reddy. *Against Constructionism. The Historical Ethnography of Emotions* // *Current Anthropology*. 1997. No. 38. Pp. 327–351.

– Господа! – заговорил русский вождь, и голос его заметно дрожал. – Молитесь и благодарите Господа... Он посылает нам великое счастье: мы идем занять Константинополь!⁶⁵

Однако удовольствия вызывают не только описания побед. Фантастические поражения парадоксальным образом вызывают катарсические переживания собственного унижения и позора, краха всех надеж. Утопическая катастрофа позволяет преодолеть логику империалистического различия и обратиться к представлениям о национальном единстве и равенстве. Значительное количество утопий не являются однозначно оптимистическими или пессимистическими, они сочетают в себе оба элемента: национальное возрождение происходит не просто после, но и *вследствие* катастрофического краха империи.

“Кровь, нами пролитая братски заодно...” Катастрофа и возрождение в утопиях

“Двухтактные” утопии, сочетающие пессимистический и оптимистический моменты, не только структурно более сложны, чем просто империалистические фантазии о захватах, но они открывают новые горизонты воображения. Ситуация горького поражения заставляет вернуться “домой”, пересмотреть свои ценности, “перезагрузить” программу исторического развития. Характерно, что И. Аксаков начал передовую статью, посвященную цареубийству 1 марта 1881 г., словами, которые, казалось бы, никак не связаны с “информационным поводом”: “...в Москву, в Москву призывает теперь своего Царя вся Россия!.. Пора домой! Пора покончить с Петербургским периодом русской истории”.⁶⁶ “Черное солнце” отчаяния высвечивает контуры аутентичности своей культуры, служа для критики колониального доминирования и для консолидации национального сообщества.

Славой Жижек в своей известной работе о национализме пришел к выводу, что нация консолидируется наслаждением, принадлежащим “Другому”, а не самой нации, которая в таком случае является “сообществом утраты”.⁶⁷ “Химическая чистота” пессимистической утопии подчеркивается тем, что воображаемые игры патриотов – это всегда игры с нулевой суммой: “Другой” не просто отнял “наше” наслаждение вместе с “нашими” территориями, армиями, колониями, контрибуци-

⁶⁵ Красницкий. За приподнятой завесой. С. 208-209.

⁶⁶ И. С. Аксаков [Передовая статья] // Русь. 1881. № 17 (особое прибавление). С. 1.

⁶⁷ Slavoj Zizek. Tarrying with the Negative. Durham, 1993. Pp. 202-203.

ями и международным престижем — он наслаждается за “наш” счет и в той мере, в какой “мы” лишены этого наслаждения. Таким образом, пессимистические утопии производят “сообщества утраты”, в которых сплавляется и гомогенизируется национальная идентичность.⁶⁸

Утопия историка Д. И. Иловайского “Более тридцати лет спустя” (1897) повествует о поражении России в ходе войны с Германией и ее союзниками, которые захватили Петербург, центральный промышленный район с Москвой, южные и западные губернии, обложили Россию контрибуцией и разместили оккупационные войска в Москве и других городах.⁶⁹ Однако автор намекает на возможность возрождения России. Правительство и царь перебираются в Нижний Новгород, люди становятся более патриотичными и лояльными царю, “пятая колонна” в лице немецких колонистов и евреев выявляется и обезвреживается. А главное, “...освободясь от некоторых западных окраин, путавших наши внутренние отношения... русский народ может теперь крепче сплотиться вокруг Престола и дружнее начать работу в национальном смысле”.⁷⁰

Иловайский более известен как автор школьных учебников; последнее дореволюционное издание его “Руководства к русской истории” вышло в 44-й раз.⁷¹ Выучивший несколько поколений образованных русских любить свою империю, Иловайский в утопическом очерке предложил бескомпромиссный и вернейший способ ее ликвидации, профессионально отстраненно констатируя конец “петербургского периода нашей истории”.⁷²

⁶⁸ Подобная интерпретация взаимосвязи утопического пессимизма и воображения нации перекликается с исследованием “патриотизма отчаяния” С. Ушакиным: Sergei Oushakine. *The Patriotism of Despair: Nation, War, and Loss in Russia*. Ithaca, 2009; С. Ушакин. “Нам этой болью дышать?” О травме, памяти и сообществах // Травма: Пункты / Под ред. Ушакина и др. Москва, 2009. С. 25. О различии “эмоциональных валентностей” империи и нации см.: Р. Суни. Аффективные сообщества: Структуры государства и нации в Российской империи // Российская империя чувств: Подходы к культурной истории эмоций / Под ред. Я. Плампера. Москва, 2010. С. 99.

⁶⁹ Темы экономической отсталости России, господства иностранцев, наличия “пятой колонны” и возможного военного столкновения с Германией с катастрофическими последствиями настойчиво присутствуют в публицистике Иловайского: Д. И. Иловайский. *Мелкие сочинения, статьи и письма*. Выпуск второй. Москва, 1896. С. iii–iv, 8, 83, 184. О политических взглядах Иловайского см.: Л. В. Чекурин. *Русский историк Д. И. Иловайский*. Рязань, 2002. 73–76.

⁷⁰ Д. Иловайский. *Более тридцати лет спустя*. Святочный сон // Кремль. 1897. № 5. С. 3.

⁷¹ Он же. *Руководство к русской истории*. Средний курс. Москва, 1916. 44-е изд.

⁷² Иловайский. *Более тридцати лет спустя*. С. 3. На парадоксальность этой ситуации проницательно обратил внимание анонимный рецензент данной статьи. Конечно,

Столь же тесная взаимосвязь катастрофы и возрождения, пессимистического сценария и надежды на лучшее, наблюдается в пьесе К. Случевского “Поверженный Пушкин” (1898), в которой смутно описывается неудачное начало войны “славянства” против пангерманского государства и Великобритании.

Погром пошел по всем землям славянским:

От Праги, к Кракову и от Варшавы

Вплоть до Невы, до Волги, до Днепра.⁷³

Москва разорена, и памятник Пушкину взорван захватчиками; в городе

[...] Слухи

Тревожные являются отсюда!

Пожары, слезы, трупы, кровь, страдания...⁷⁴

Но в самый отчаянный момент

Из-за монастыря дружина чехов

Им в бок ударила [...]

Тут подоспели и донские сотни...

Поляки, сербы, ихняя пехота.⁷⁵

Москва отбита, приходит весть о победе под Петербургом. В порыве энтузиазма русские и славянские ратники поднимают поверженный памятник Пушкину. Катастрофическое начало войны заставляет славянские племена сплотиться и дать отпор врагу:

Поляки с чехами и мы, как братья,

Повсюду дружно бились заодно...

... Отныне нас сливает воедино,

Кровь, нами пролитая братски заодно.⁷⁶

Иловайскому дорога империя, иначе фантазия о ее падении ни была бы окрашена в столь темные тона, но утопический образ новой России у него не несет видимых гибридных черт империи и нации; Иловайский беспристрастно исследует, до каких пределов можно дойти в отрицании начал, характерных для “петербургского периода” российской истории.

⁷³ К. Случевский. Поверженный Пушкин // Пушкинский сборник. Санкт-Петербург, 1899. С. 252.

⁷⁴ Там же. С. 251.

⁷⁵ Там же. С. 244.

⁷⁶ Там же. С. 255-256. Не совсем понятно, почему исследовательница творчества Случевского Е. А. Тахо-Годи контекстуализирует “Поверженного Пушкина” в рамках теории Н. Я. Данилевского (Е. Тахо-Годи. Константин Случевский. Портрет на пушкинском фоне. Санкт-Петербург, 2000. С. 292-295), который к тому времени уже давно умер, а панславизм был представлен многими другими яркими именами.

Чтобы прийти к той же фразеологии, что и у Случевского: “как братья”, “братски заодно” и т.п., – Шарапову и многим другим неославянофилам понадобилось пережить разгром России на Дальнем Востоке, революцию 1905–1907 гг. и опыт парламентаризма, т.е. крушение всех мессианских иллюзий об уникальности социально-политического опыта России, о “безгосударственном” характере русского народа и “мирной” его истории. Заносчивый тон утопии Шарапова “Через полвека” (1901) разительно отличается от его утопических и полемических сочинений 1905–1910 гг. В серии утопических брошюр “Диктатор”, которые издавались по следам революции 1905–1907 гг. под псевдонимом Лев Семенов, прошлое утопии совпадает с историческим прошлым, а настоящее, хотя и пронизано исторической реальностью, но изображено как поворотный пункт в истории России. Воображаемый диктатор закрывает Государственную думу, произнося следующую речь:

Мне суждено своей слабой рукой перевернуть страницу русской истории. Дай Бог, чтобы это была последняя страница страшного и позорного для России петербургского периода. В эту ужасную двухсотлетнюю полосу мы забыли Бога, исказили нашу историю, развратили и обезличили наш великий и умный народ...⁷⁷

В передовой статье “Русского труда” (1906) Шарапов изображает подробную картину “ближайших катастроф”. По его представлениям, внутренняя анархия в России станет предлогом для нападения соединенных сил Германии и Австро-Венгрии, которые без труда “займут всю Россию до Волги”. Турция в это время захватит Кавказ, Сибирь и Урал объявят независимость, Япония присоединит к себе Приамурье. Правительство исчезнет. “Казалось бы, это и будет политической смертью нашей Родины. Но, в сущности, это станет только началом ее возрождения”, – провозглашает публицист. Чувство нависшей угрозы “образумит” интеллигенцию, возбудит патриотизм в народе, “возродит земщину” и религиозное чувство, объединит разрозненные

Наиболее вероятное идеологическое влияние заключалось в праздновании столетия Ф. Палацкого в Праге в 1898 г. В праздновании принимал участие В. В. Комаров с речью, отзвуки которой слышатся в пьесе Случевского, о необходимости второго Грюнвальда, когда “соединенный Славянин... наступил ногой на немецкого рыцаря и раздавил его” (Свидетель. 1908. № 10-11. С. 124); Н. Н. Лендер. Виссарион Виссарионович Комаров (воспоминания) // Исторический вестник. 1908. № 2; P. Vyšný. Neo-Slavism and the Czechs, 1898–1914. Cambridge, 1977.

⁷⁷ Шарапов. Диктатор. С. 446-447.

классы: мужик и барин, рабочий и капиталист сойдутся ради изгнания захватчиков, помирятся народы Польши и России в общей ненависти к немцам. В результате через несколько лет “совершится нравственное перерождение всей России, перестройка ее государственной идеи, переустройство вооруженной силы, явится пламенный патриотизм, возникнет духовное единство, найдутся и выйдут талантливые правители, гениальные полководцы, и Восток тронется неудержимой стихией на освобождение Запада”.⁷⁸

Под “перерождением всей России” имеется в виду и вполне конкретная геополитическая программа, связанная с тем, что “Россия русская” “выдохлась как государство и нация” и должна закончить свое самостоятельное существование и превратиться в “Россию славянскую”, подобно тому как Пруссия стала центром объединения Германии.⁷⁹ Автор эксплицитно отвергает культурную русификацию или вообще какую бы то ни было деятельность по преобразованию и администрированию приобретенного населения. Напротив, славяне хороши как они есть, и даже лучше русских, которым не хватает твердости чехов, политической дисциплины поляков, трудолюбия болгар и “поэтической непосредственности” сербов.⁸⁰ Как раз напротив: у русских нет основания третировать славян как “младших братьев”, так как русским нечему учить славян: европейские манеры и традиции в России подражательны (какой смысл копировать дурную копию, когда есть оригинал?), а собственная славянская культура недоразвита.⁸¹

Шарапов предлагал федеративную формулу для присоединения славян и других восточноевропейских и центральноевропейских народов к России в качестве автономных областей, примерно соответствующих этническим образованиям: Польша, Финляндия, Чехия, Болгария и т.д. Таким образом, Шарапов избегает сложностей, связанных с проведе-

⁷⁸ С. Ф. Шарапов. [Передовая статья] // Русское дело. 1906. № 22-23. С. 3-4.

⁷⁹ ГАСО. Ф. 121. Д. 545. Л. 17, 21об. (Письмо К. Пасхалову, 28 декабря 1906 г.; письмо неизвестному редактору польской газеты, возможно Мариану Здзеховскому, 29 декабря 1906).

⁸⁰ Свидетель. 1908. № 16-17. С. 13.

⁸¹ Русское дело. 1886. № 2. С. 3. Шарапов был одним из ярких оппонентов национализма и “черной сотни”. См. также: Свидетель. 1907. № 3-4. С. 123; Свидетель. 1908. № 16-17. С. 20-21; ГАСО. Ф. 121. Д. 380. Л. 1 (письмо к В. М. Пуришкевичу, 10 февраля 1910 г.) Из исследований: М. Н. Лукьянов. Российский консерватизм и реформа, 1907–1914. Штутгарт, 2006. С. 163-174; Mikhail D. Suslov. Neo-Slavophilism and the Revolution of 1905–1907: A Study in the Ideology of S. F. Sharapov // Revolutionary Russia. 2011. Vol. 24. No. 1. P. 35.

нием колониальной политики на завоеванных территориях, что не исключает режима господства России. Пространственную конфигурацию идентичностей, вообразенную Шараповым, можно концептуализировать понятием “империалистического антиколониализма”, ссылаясь на аналогичное использование понятия У. Э. Уильямса современными исследователями утопизма.⁸²

Таким образом, модель “катастрофа и возрождение” в утопическом воображении служила источником осмысления новых, неимпериалистических подходов: гомогенного национального сообщества и федеративной панафии, причем славянофильство служило идеологическим и историософским базисом для подобных интерпретаций.

Славянофильская метаутопия в работах С. Ф. Шарапова

Концепция внутренней колонизации/деколонизации предлагает продуктивный квалифицирующий подход к анализу трансформаций идентичностей в российских утопиях. А. Эткинд пишет, что в России колониальный “Другой” находился внутри собственного народа, поэтому имперский вектор знания и доминирования был направлен внутрь России. Эпоха краха имперского проекта в конце XIX – начале XX вв., которая нас преимущественно и интересует, вызвала процессы деколонизации, основные практики которой были аналогичны практикам деколонизации в Западной Европе и включали в себя чувство вины, пристальный интерес к “субальтернам”, их идеализацию и романтизацию, критику имперского центра, т.е. все те явления, которые были характерны для славянофильства и народничества – главных идеологий российской внутренней деколонизации.⁸³

Славянофильство было не только одной из “ранних идеологий антиимперского протеста”,⁸⁴ но и утопией (если опираться на интерпретацию маннгеймовской теории, предложенную А. Валицким), т.е. движением романтического неприятия отчуждающих отношений

⁸² Balasopoulos. *Unworldly Worldliness*. P. 20; William Appleman Williams. *The Tragedy of American Diplomacy*. New York, 1971. Pp. 18-58. Аналогичное понятие “господство без гегемонии” предложено в работе: Ranajit Guha. *Dominance without Hegemony. History and Power in Colonial India*. Cambridge, MA, 1998.

⁸³ А. Эткинд. Фуко и тезис внутренней колонизации: Постколониальный взгляд на советское прошлое // Новое литературное обозрение. 2001. № 49. С. 50-74; А. Эткинд, М. Могильнер. Разговор о неклассическом колониализме – 1: Интервью с Александром Эткиндо // *Ab Imperio*. 2011. No. 1. С. 117-130.

⁸⁴ Etkind. *Internal Colonization*. Pp. 17, 140.

индивидуалистического капиталистического общества.⁸⁵ Центральной задачей классического славянофильства было осмысление и исследование противоречия между “публикой и народом”, которое Валицкий проблематизировал в терминах Ф. Тенниса как *Gesellschaft* и *Gemeinschaft*.⁸⁶ Это противоречие легло в основу “теории общества” славянофила “второго поколения” И. С. Аксакова, которая должна была разрушить культурную дистанцию между тем и другим; общество в его понимании – это просвещенные, национально мыслящие интеллектуалы, выражающие интересы народа и его традиционные ценности, это “публика”, которая не оторвалась от “народа”.⁸⁷ У славянофилов “третьего поколения” редукция колониальной дистанции между “публикой” и “народом” выразилась в проектах иерархической, всеобъемлющей системы самоуправления, основание которого находится в церковном приходе, а вершина – на царском престоле.

Уничтожение колониальной дистанции предполагает не только отказ от имперской логики различия, но и уничтожения ряда институтов, это различие поддерживающих. Речь идет, в частности, о бюрократии. При всей тривиальности антибюрократического пафоса для славянофильского дискурса Шарапов и здесь отличился размахом воображения: в утопии “У очага хищений” чиновников предлагают “расстреливать из пулеметов веером”.⁸⁸ Другой институт, производящий культурную дистанцию, – образование. Шарапов, который в этом вопросе был явно под влиянием У. Морриса, мог бы повторить его шутку о змеях и политике, написав в главе об образовании, что никакой системы образования в его воображаемой России 1952 г. нет. “Через полвека” рисует такую картину: начальное образование – домашнее, или же группы родителей приглашают учителя для своих детей. Среднее образование ученики

⁸⁵ Andrzej Walicki. *The Slavophile Controversy: History of a Conservative Utopia in Nineteenth-Century Russian Thought*. Oxford, 1975.

⁸⁶ К. С. Аксаков. Опыт синонимов: публика – народ [1857] // *Славянофильство: Pro et contra* / Ред. Д. К. Бурлака. Санкт-Петербург, 2006. С. 109-110; Andrzej Walicki. *The Slavophile Controversy: History of a Conservative Utopia in Nineteenth-Century Russian Thought*. Oxford, 1975.

⁸⁷ Н. И. Цимбаев. И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. Москва, 1978. С. 180; Stephen Lukashovich. *Ivan Aksakov. A Study in Russian Thought and Politics*. Cambridge, MA, 1965. P. 87; И. С. Аксаков. Народ, государство и общество // Аксаков. Наше знамя – русская народность. Москва, 2008. С. 73-74.

⁸⁸ Шарапов. У очага хищений. С. 210. Невзирая на ироничность этого проекта, угроза была воспринята серьезно: против Шарапова было возбуждено уголовное дело, однако суд нашел его невиновным. См.: Свидетель. 1909. № 22. С. 82.

получают на приходских курсах; каждый автономный и самоуправляющийся приход организует такие курсы, какие сочтет нужным. Высшее образование тоже дается на курсах, которые читаются “артелями” профессоров за плату.⁸⁹ Утопический Диктатор провозглашает: “Пусть каждый учится, где хочет, чему хочет, у кого хочет и за чей счет хочет, только не за казенный”.⁹⁰

Однако и сам жанр утопического повествования – это тоже социально-политический институт, производящий культурную дистанцию. В свете дихотомии “публика – народ” утопия рассматривалась как механическое, искусственное, схематическое построение в умах образованной “публики”, противопоставленное органической, естественной реализации внутренних сил и возможностей, заложенных в “народе”. Противоречивое отношение к утопии со стороны славянофилов следует из их понимания того, что утопия как выдуманная схема ограничивает то, что она же должна вызвать: спонтанную активность масс, тем самым воссоздавая “железную клетку” там, где должно быть социальное пространство свободы.⁹¹ В этом аспекте славянофильство оказывается поразительно сходным с марксизмом в анализе одной из центральных проблем современности. Так, Ленин в работе “Государство и революция”, которая многими считается образцом метаутопии, повторяет анализ утопизма Энгельсом и несколько раз подчеркивает, что конкретные формы будущего возникнут сами в ходе исторического движения масс, поэтому их не надо “выдумывать” в утопиях.⁹² Подобное же парадоксальное отвращение к “выдумыванию” нового присутствует в славянофильских утопиях, в которых освобождение от господства *Gesellschaft*, от власти европеизированной публики, означает одновременно освобождение от утопий, но такое освобождение невозможно вне утопической трансформации социального пространства.

⁸⁹ Шарапов. Через полвека. С. 59.

⁹⁰ Он же. Кабинет диктатора (Политическая фантазия). Москва, 1908. С. 30-31. См. также: Он же. Диктатор. С. 113; Он же. Вопль голодающего интеллигента. Москва, 1902. С. 30; Он же. Открытое письмо П. А. Столыпину // Русское дело. 1906. № 35. С. 5; Он же. Обязательность всеобщего обучения // Свидетель. 1910. № 33. С. 4.

⁹¹ Ср. с ремаркой Д. Харви о том, что внутреннее противоречие пространственных утопий заключается в том, что они “обыкновенно задумываются для стабилизации и контроля над процессами, которые должны быть использованы для их строительства” (David Harvey. *Spaces of Hope*. Los Angeles, 2000. P. 173).

⁹² В. И. Ленин. Государство и революция. Петроград, 1918. С. 24.

В работах Шарапова постоянно происходит самоуничтожение утопии. В частности он постоянно подчеркивает антиутопический характер своих построений, которые основаны якобы исключительно “на жизни”, на практике, а не на абстрактных схемах. Во введении к своим “Сочинениям” Шарапов отмечал свою главную черту – утилитаризм: “Я старался положения славянофильства свести с Олимпа и посадить на землю”. Тем самым он оценивал “жизнь” выше “теории” и постоянно призывал “отбросить пути доктрин”, “исходить не из доктрин, а из нужд русской жизни”, “перестать баловаться, бегая от одной теории к другой, а... идти в народ”⁹³ и т.п. Утопия, по его мнению, неизбежно ведет к “тюремному бараку”.⁹⁴ Тем не менее как автор пяти утопий Шарапов мог бы считаться самым плодовитым российским утопистом. “Через полвека” 1902 года издания было сопровождено пространной пояснительной запиской, в которой говорилось: “...я хотел бы в фантастической и, следовательно, довольно безответственной форме дать читателю практический свод славянофильских мечтаний и идеалов”.⁹⁵ Таким образом, фокус начинался с его разоблачения, и подобное самоуничтожение являлось типичным для славянофильской утопии. Так, И. Ф. Романов, сотрудник и приятель Шарапова, был автором утопической брошюры “Вечер черной и белой магии”, в которой десять страниц из четырнадцати представляли собой предисловие с “разоблачением”. Автор пространно комментирует знаменитое произведение Беллами, разоблачая утопии как “софистическую эквилибристику”.⁹⁶

В утопиях Шарапова утопический демиург, “диктатор”, постоянно разоблачает сам себя, стремясь к самоликвидации. В “Через полвека” роль Утопоса, мифического законодателя, играет “наш гениальный Федот Пантелеев” – “простой, маленький дворянин, совершенно незнатный. Он сидел у себя в деревне, в Саратовской губернии, и появился в Петербурге довольно неожиданно”.⁹⁷ Диктатор из одноименного произведения – Иванов 16-й, простой полковник, “ровно ничем выдающимся не отмечен и имеет послужной список самый скромный и, можно

⁹³ Шарапов. Предисловие // Шарапов. Сочинения. Санкт-Петербург, 1892. Т. 1. С. xviii; Талицкий [С. Ф. Шарапов]. Деревенские мысли о нашем государственном хозяйстве. Москва, 1886. С. vi; Он же. Дневник // Русское слово. 1900. 17 июля. С. 2; Он же. Мой дневник // Свидетель. 1910. № 37-38. С. 94.

⁹⁴ Благовест. 1890. № 9. С. 257.

⁹⁵ Шарапов. Через полвека. С. 607.

⁹⁶ Рцы [И. Ф. Романов]. Вечер черной и белой магии. Фантазия на тему “Через сто лет” Беллами. Москва, 1891. С. 3-10.

⁹⁷ Шарапов. Через полвека. С. 75.

сказать, бесцветный... Таких офицеров у нас тысячи...”.⁹⁸ Ключевой фигурой правительства диктатора – министром финансов – становится Соколов 18-й, “молодой офицер”, в фигуре которого “не было ничего выдающегося”. Третий сотрудник диктатора, министр внутренних дел Тумаров, выдвинулся “из скромных рядов русского судебного сословия”. Наконец, министр образования Порубин – отставной профессор, которого насилу вытащили из его небольшого имения.⁹⁹ План приходской реформы, центральной для утопии Шарапова, разработан “скромным сельским священником в глухой деревне”,¹⁰⁰ чье имя даже не называется. Сама “номерная” и “общерусская” фамилия диктатора подчеркивает обыкновенность, типичность утопического законодателя, в котором нет ничего героического или выдающегося. Иванов прямо говорит, что если его убьют революционеры, то его место “займет тотчас же другой столь же вам неизвестный Иванов, за ним третий и т.д.”.¹⁰¹

За столь настойчивой дегероизацией утопического героя стоит все та же славянофильская тема “освобождения” от внешних форм, чрезвычайного законодательства, реформ “сверху”, пусть даже проведенных гениальным преобразователем. В подобной антиутопической утопии роль реформатора логически требует самоуничтожения; он выводит Россию на ее “историческую дорогу”, помогает ей сбросить путы реформаторства, в том числе его собственного, и дает ей возможность “органически” развиваться по своим собственным законам. “Я заклятый враг всякого сочинительства”, – признается Иванов,¹⁰² и в другом месте: “Если идея имеет здоровый росток, он проклонется сам собой. Все само вырастет”.¹⁰³ Утопический диктатор всеми силами отрешивается от утопии, “ибо утопия, логически развиваясь, не может не дать абсурда”.¹⁰⁴

Шарапов постоянно подчеркивает невежественность диктатора (“я профан, едва прочитавший пять-шесть книг”¹⁰⁵) в вопросах о финансах, об устройстве церкви и образования и т.д., но как раз эта невежественность, непрофессионализм являются залогом “непосредственного чувства”, благодаря которому диктатор может смотреть в глубину

⁹⁸ Он же. Диктатор. С. 99.

⁹⁹ Шарапов. Иванов 16-й и Соколов 18-й. С. 160-161; Шарапов. Кабинет диктатора. С. 244; Шарапов. Кабинет диктатора. С. 265.

¹⁰⁰ Он же. Иванов 16-й и Соколов 18-й. С. 159.

¹⁰¹ Он же. Диктатор. С. 100.

¹⁰² Он же. Иванов 16-й и Соколов 18-й. С. 183.

¹⁰³ Он же. Кабинет диктатора. С. 256.

¹⁰⁴ Он же. Диктатор. С. 117.

¹⁰⁵ Он же. Иванов 16-й и Соколов 18-й. С. 153.

любого вопроса. Иными словами, чем менее “учён” диктатор, тем он более “человек народа” и лучше выражает народные мнения и чаяния. Роль народного трибуна по канонам фольклора нередко достается шуту, и, действительно, в тексте Шарапова мы находим и эту параллель: старинный друг Иванова говорит: “Ну, какой ты диктатор, позволь тебя спросить? Ты шут гороховый...”¹⁰⁶

Диктатор явно является литературной проекцией самого Шарапова. Об этом свидетельствует не только близость политических взглядов, но и сходство биографий – они оба незнатные провинциальные дворяне, получившие образование в Николаевском инженерном училище. В частной переписке Шарапов признавался: “Мой недостаток – мое абсолютное, голое невежество... Между тем я, по совести говоря, не боюсь никаких вопросов... Я не хочу попадать ни под какой гипноз, а гипноз неизбежен, если Вы “пройдете” любого теоретика... Только совесть не даст никогда ошибку, только любовь осветит и рельефно покажет все заблуждения”.¹⁰⁷ Но при этом он претендовал на роль “большую, чем у Каткова”, роль наставника царя и народного трибуна, чье слово вершит судьбами министров,¹⁰⁸ ту роль, которую он взлелеял и любовно доверил своему литературному двойнику Иванову 16-му.

Заключение

В славянофильских утопиях появляется ранний вариант постколониальной критики, в рамках которой восстановление аутентичности своей культуры предлагалось не только через освобождение от внешней и внутренней гегемонии европейской цивилизации, но также и через отказ от утопии как инструмента колониального подавления. Это, однако, создавало парадокс “Диктатора”, так как сбросить внешнее господство можно было опять же через утопическую трансформацию.

Славянофильская утопия сформировалась как утопия упрощения, редукции колониальных дистанций.¹⁰⁹ Она включала в себя стирание

¹⁰⁶ Шарапов. У очага хищений. С. 196.

¹⁰⁷ ГАСО. Ф. 121. Д. 1046. Л. 22-23 (Письмо К. Ю. Купалову, без даты).

¹⁰⁸ ГАСО. Ф. 121. Д. 1046. Л. 19об. (Письмо А. С. Суворину, 15 февраля 1902).

¹⁰⁹ О нейтрализации (редукции) хронотопа в утопиях см.: Fredric Jameson. World-reduction in Le Guin: The Emergence of Utopian Narrative [1975] // Michael Hardt and Kathi Weeks (Eds.). The Jameson Reader. Oxford, 2000. Pp. 368-381; Jameson. Of Islands and Trenches: Naturalization and the Production of Utopian Discourse // Diacritics. 1977. Vol. 7. No. 2. Pp. 2-21; Edith W. Clowes. Russian Experimental Fiction. Resisting Ideology after Utopia. Princeton, 1993. Pp. 41-43.

пространственных различий между Западом и Востоком, редукцию культурной дистанции между колонией и метрополией, организацию пространства как бесклассового общества самоуправляющихся коммун. Но тем самым высвечивается мелкобуржуазный характер проектов Шарапова, который “не умел найти народа и вместо народа всегда проповедовавшего ‘сферам’”.¹¹⁰

Привлекая анализ Л. Марэна, можно заметить, что нейтрализация колониальной дистанции ведет не к диалектическому синтезу противоположностей, а к появлению третьего элемента, к ложному решению проблемы в воображаемом хронотопе утопии.¹¹¹ Но не артикулировав различия и не “вынырнув по ту сторону” колониализма, нельзя его преодолеть.¹¹² Поэтому редукция ведет к радикальному упрощению картины мира; утопическое пространство-время возвращается к архаике, к патриархальным и персонализированным отношениям. Местное самоуправление вместо институтов политической власти, общественное мнение вместо законов, традиция и органический рост “народа” (в противоположность “публике”) вместо планирования и реформирования, наконец, единая славянская, панславянская, нация, организованная в виде самоуправляющихся автономных областей, вместо системы национальных государств – эти несущие конструкции утопического общества придают элемент фундаментализма, возвращения к ценностям прошлого, построениям Шарапова. Поэтому внутренняя колонизация/деколонизация не разрешает проблему различия, а воспроизводит ее снова и снова.

SUMMARY

The article by Mikhail Suslov explores the ways identities were imagined in Russian utopias at the end of the nineteenth century and in the early twentieth century. The author conceives of narrative utopias as forms of political intervention. The article claims that those utopias not only reflected the hegemonic structures of spatial imagination in prerevolutionary Russia but also suggested new ways of development of the geopolitical imagination beyond the imperial and colonial paradigms. At the same time, those utopias

¹¹⁰ П. Струве. С. Ф. Шарапов (некролог) // Русская мысль. 1911. № 8. С. 9.

¹¹¹ Louis Marin. *Utopics: Spatial Play*. Atlantic Highlands, 1984. P. 7.

¹¹² Terry Eagleton. *Nationalism: Irony and Commitment* // Eagleton et al. (Eds.) *Nationalism, Colonialism, and Literature*. Minneapolis, 1990. Pp. 23-24.

reveal self-annihilating contradictions that were a result of complexities and constraints involved in imagining a radically novel political world. Thus, even cosmic utopias with socialist programs reproduced the metanarrative of hegemonic European culture. Only those authors of utopias who lived through catharsis in the form of real or literary catastrophe and disillusionment could transgress the conventions of imperialist pleasures and imagine “communities of trauma.” These latter types of utopias refracted features of Slavophilic messianism. In the literary imagination, the community was envisioned by authors as founded on national homogeneity or a pan-national (pan-Slavic) federation. Suslov concludes that the consolidation of post-imperial society as portrayed in those utopias may be understood as a result of the process of internal decolonization. The article pays close attention to political projects by S.F. Sharapov, who was a prominent neo-Slavophile publicist and author of works of fiction. Sharapov’s works clearly demonstrate how the internal logic of Russian fin-de-siècle utopias necessarily led to the reduction of inner contradictions in the dynamically modernizing imperial society and to the self-liquidation of utopia as a literary genre.